



А. Г. ЗАКРЖЕВСКИЙ

Литературные впечатления

III ВОСКРЕСШИЙ ПИСАТЕЛЬ

Книгоиздательство Саблина задумало выпустить полное собрание сочинений Константина Леонтьева; пока вышло два тома...

Дело, во всяком случае, полезное: ведь для многих имя Леонтьева — звук пустой, а для некоторых — и того хуже (считают позорным самый этот звук; так поступают те, которые любят таблички с определенными надписями на лбу человеческого, им все равно до *души* этого человека, лишь бы значилась табличка, по ней и судят)... И только очень и очень немногие — человек десять во всей России, не больше — знают, *кто* был Леонтьев не по табличке, а душой своей, творчеством своим, мукой своей... И для этих немногих имя Леонтьева так же дорого, как имя Ницше, с которым у него много общего.

Так называемое общественное мнение осуждает Леонтьева за его «катковщину», брезгливо относится к его консерватизму, называет «приверженцем палки и кнута», ставит наряду с Меньшиковым. Но рассуждать таким образом могут люди очень недалекие, люди «табличек» и партий, люди, для которых мир заключается в формуле, они и живут ею, а до мира им, в сущности, никакого дела и нет...

Да и не правы они по отношению к Леонтьеву: он от «общественности» так же далек был, как и все выдающиеся гениальные люди, как и Достоевский, как и Ницше, как и многие им подобные... Он стоял выше всякой политики и общественности, которые так же нужны были ему, как телеге пятое колесо.

Если бы было иначе, то незачем было и откапывать теперь Леонтьева: ну, бранил политику и либерализм, ну и Бог с ним, пусть себе поживает, у нас и теперь своих достаточно... Если бы

Леонтьев был *только* сотрудником «Русского вестника», то нам в настоящее время было бы до него столько же дела, сколько до «Русского вестника»... По-видимому, интерес его вовсе не в этой стороне, по-видимому, значение его выше всякой политики, выше всяких интересов дня, и это свидетельствует о том, что Леонтьев творил для вечности и представляет ценность писателя незаурядного, оригинального, вневременного.

Удивительно, сколько еще никому не известных кладов хранит в себе Россия! Творят они в одиночестве, в одиночестве пребывают, и знают о них лишь одинокие и такие же страдающие, никем не понятые люди, как они сами, а потом «гробокопатели» извлекают их трупы из могил — и снова они воскресают, только теперь уже каждый идиот может повторить автоматически: «Да, это, знаете, человек весьма, весьма, как бы это сказать... гм... глубокомысленный, что ли!» — ну, а тогда никто о них не знал и они не были никому нужны... Впрочем, это участь общая для всех истинно глубоких художников: улица подхватывает и превозносит лишь то, что годится для улицы, а алмазы сохраняются за семью печатями до тех пор, пока случай или мода, или какой-нибудь «гробокопатель» не вытащит их на поверхность жизни... Напишет «гробокопатель» кирпич в шестьсот страниц о значении извлеченного трупа, докажет так ясно, как уже нельзя иначе, что извлеченное достойно внимания, улица подхватит, газета поможет, и кумир готов... Так было с Ницше: при жизни над ним смеялись, гнали отовсюду, гнали и предавали злобным издевательствам его же товарищи, его же друзья, а теперь имя Ницше треплет всякий буржуй (и это, конечно, святотатство)...

Все обаяние Леонтьева, вся его красота именно в том и заключается, что он заявил неслыханное дерзание: пошел вразрез со своим временем, с господствующими идеями, с догматами, с традициями — во имя своей личной свободы, во имя *истинной индивидуальной свободы*, которая непонятна стаду и тем, на устах которых слово «свобода» звучит так же привычно, как, например, слово «автомобиль».

Но в этом же была и его трагедия: пошлая толпа поняла Леонтьева с одной лишь стороны, назвала его консерватором (по табличке!), но сам-то он в глубине души был опаснее какого-нибудь анархиста, сам-то он лелеял в своем уме такие замыслы и такие идеи, которые пришлось бы по вкусу какому-нибудь Нерону, или Александру Борджиа, или Иоанну Грозному, сам-то он хотел бы разрушить весь мир во имя хаоса, безумия и мрака, для самого-то него жестокость была глубоко эстетическим переживанием, а пресловутое «свобода, равенство и братст-

во» — лишь вечной скукой, приводящей человечество к муравейнику, где все будет приведено к нулю, где, вследствие того что все будут равны, уничтожится красота человеческой личности, наступит рабство, невыносимое для людей необычных, для людей гениальных, для людей с неутолимым голодом тоски безмерной, больной, бездонной, снов упоительных, снов безумных, снов о невозможном, о чуде, — невысказанных мечтаний, непонятных, таинственных, неразрешенных чувств... В этом муравейнике всеобщей сытости, равенства и невыносимой хамской скуки эти люди, конечно, бы не выдержали, задохнулись бы, с ума бы сошли... И вот как относился к этому муравейнику один из них — Достоевский: «Тогда настанут новые экономические отношения... Конечно, нельзя гарантировать, что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда все будет рассчитано по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь. Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются, но это бы все ничего. Скверно то, что, чего доброго, и золотым булавкам тогда обрадуются... Свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая пропущенная выгода, которая ни под какую систему не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту» («Записки из подполья»).

Так же, как и Достоевский, относился к этому величайшему рабству в муравейнике всеобщего равенства и Леонтьев, ибо ему было душно со своей глубокой тоской, со своими потребностями, со своей гениальной одаренностью в этом душном курятнике, где всякая свободная, оригинальная, творческая мысль, всякое ничем не стесненное мнение, всякий произвол поэтической фантазии подлежат искоренению и вместо этого ставится идеал «правильных, честных, благородных», а главное — санкционированных общественным мнением, стриженных, плоских и бездарных мыслей...

Однажды Леонтьев проходил по Невскому с одним из сотрудников «Современника» — Пиотровским, пламенным поклонником Чернышевского и Добролюбова...

«Желали бы вы, — спросил Леонтьев Пиотровского, — чтобы во всем мире все люди жили все в одинаковых маленьких, чистых и удобных домиках, вот как в наших новороссийских городках живут люди среднего состояния?» Пиотровский ответил: «Конечно, чего же лучше?»... Тогда Леонтьев сказал: «Ну, так я не ваш отныне. Если к такой ужасной прозе должны при-

вести демократические движения, то я утрачиваю последние симпатии свои к демократии. Отныне я ей враг!» В то время они проходили мимо огромного дома Белосельских, за ним было видно Троицкое подворье, а направо, на самой Фонтанке, ютились бедные домики рыбаков... Леонтьев указал Пиотровскому на эти домики, на дом Белосельских, на подворье и сказал: «Вот вам живая иллюстрация. Подворье во вкусе византийском — это церковь, религия, дом Белосельских в виде “рококо” — это знать, аристократия; желтые садки и красные рубашки — это живописность простонародного быта. Как это все прекрасно и осмысленно! И все это надо уничтожить и сравнять, для того чтобы везде были все маленькие, одинаковые домики или вот такие многоэтажные буржуазные казармы, которых так много на Невском!»*

Но страсть Леонтьева к эстетическим контрастам не объясняется его эстетизмом, он не был вовсе эстетом в пошлом нынешнем смысле слова, нет, это была натура глубоко религиозная, натура, возлюбившая свободу (настоящую, религиозно-индивидуалистическую свободу) выше всего, способная во имя утверждения этой свободы, во имя торжества и расцвета личности уничтожить все преграды, «подморозить Россию», предать разрушению весь муравейник, отвергнуть и предать насмешкам даже самую идею прогресса!.. И в этом отношении Леонтьев — индивидуалист *par excellence*, индивидуалист, равный по силе своей оригинальности одному лишь своему антиподу — Ницше. «Леонтьев, — говорит В. В. Розанов в прекрасно написанной, чуткой, удивительной по некоторым мыслям статье “Неузнанный феномен”, — имел неслыханную дерзость выразиться принципиально против коренного, самого главного начала, принесенного Христом на землю, против *кротости*. Леонтьев сознательно, гордо, дерзко и богохульно сказал, что он *не хочет* кротости и что земля не нуждается в ней, ибо кротость эта ведет к духовному мещанству, из этой “любви” и “прощения” вытекает “эгалитарный процесс”, при коем все становятся курцами-либералами, неэстетичными Плюшкиными, и что этого не надо, и до конца земли не надо, до выворота внутренностей от негодования. Таким образом, Леонтьев был *plus Nietzsche que Nietzsche même*; у того его антиморализм, антихристианство все же были лишь краткой идейкой, некоторой литературной вещицей, только помазавшей по губам европейского человека. Напротив, кто знает и чувствует Леонтьева, не может не согласиться, что в нем это, в

* Сборник памяти Леонтьева. С. 53–54.

сущности “нищепанство”, было непосредственным, чудовищным аппетитом и что дай-ка ему волю и власть (с которыми бы Ницше *ничего не сделал*), он залил бы Европу огнями и кровью в чудовищном повороте политики» *.

Мне кажется, что Розанов немного преувеличил жестокий аппетит Леонтьева: он вовсе уж не был так чудовищно жесток, и если прорывались в нем по временам нероновские проклятья по адресу буржуазного стада и либерализма, то здесь причина была чисто психологическая, лежащая в самом складе его души. *Во имя страдания* хотелось ему уничтожить стремление к равенству и сытости, во имя утонченной красоты страдания, тайну которой он постиг и без которой невозможно истинное творчество гения, хотелось ему «подморозить Россию» и обречь на жестокость весь мир. «Все изящное, — говорит он, — все глубокое, выдающееся чем-нибудь, и наивное, и утонченное, и первобытное, и капризно развитое, и блестящее, и дикое одинаково отходит, отступает перед твердым напором этих серых людей!» Во имя единственной радости в страдании, во имя эстетического и религиозного чувства страдания готов был он принести в жертву и свой покой, и покой и радость человечества, ибо ведомо было ему, что не спокойствием, не сытостью, не мещанскою жизнью покупается мир горний, мир гения, а жертвой, слезами и кровью... Красоту страдания он возлюбил выше своей жизни... Это не всем понятно, только в России встречаются такие удивительные, странные, безумные люди, только здесь во имя страдания отрекаются от прогресса и счастья, только здесь любят одинокую и страшную свободу свою сильнее всей жизни!..

Судьба этого человека по существу своему трагична... Трагедия Леонтьева — это трагедия русской души, которой противны все рамки, все условности, все традиции, которая в своей одинокой, странной, загадочной жизни видит такие миры, прозревает такие горизонты, проникает в такие глубины, где водоворот, где хаос, где безумие, где боль, где Христос...

Этот человек, проповедующий жестокую свободу свою, будучи уже консулом в Салониках, лежа больной, решил, что если выздоровеет, то уйдет в монастырь!.. Он выздоровел, но остался верен своему обету, бросил консульство, карьеру, деньги, свет, весь мир и уехал на Афон, чтобы постричься в монахи... Правда, тогда постричься ему не пришлось (это он сделал гораздо позже), но переворот уже совершился в его душе!..

* Там же. С. 182–183.

Разве не загадочна, разве не трагична была судьба этого человека? Вот и он не выдержал страшной свободы своей, он отрекся от мира и пришел ко Христу, и мир весь истаял во Христе...

Тогда начался новый период в жизни Леонтьева... Он все время как обезумевший блуждал в странных загадочных грезах своих около монастырских стен, возненавидел мир, обрек его на казнь, и только лик Христов, и только Оптиная Пустынь, в которой он пребывал безвыездно в последнее время своей жизни, и только безумная боль его, никому не ведомая, им же самим в сердце своем схороненная, были содержанием удивительной этой, выходящей из дней необычайной души!..

В Оптиной Пустыни, пребывая все время около знаменитого старца Амвросия, в тишине, в полнейшей отрешенности от мира, в своей уединенной келье, Леонтьев схоронил жестокое свое, гениальное дерзание, свой анархический бунт, свое проклятье и тоску свою, приняв монашеский сан незадолго до кончины своей, последовавшей в 1891 г.

Теперь перед нами его книги, столько времени пребывавшие неизвестными, непонятые, отвергнутые, забытые... Но не книги его имеют для меня главное значение, а душа его, столько пережившаяся, переболевшая, обессилевшая в жестоком бунте своем, пережившая всю трагедию нашего времени и сквозь тяжелый мрак путями неведомыми пришедшая к радости своей нездешней...

Эта душа ценою непосильного страдания купила свою гениальность, свою красоту и свободу, эта душа мучительным крестом своей жизни оставила во времени немеркнущий след...

